

© 2008 г. А.М. ПЕВНОВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

На основе «привязки» данных исторической фонетики к определенным географическим названиям и названиям деревьев и рыб автор ведет поиск прародины тунгусо-маньчжурских языков.

1.0. Тунгусо-маньчжурская проблема

Решение так называемой тунгусо-маньчжурской проблемы предполагает ответы по крайней мере на два вопроса: где и когда начался процесс, в результате которого ныне существенно различающиеся по культуре и антропологическому типу тунгусо-маньчжурские народы говорят на генетически относительно близких языках?

Очевидно, проблема эта может быть решена на основе комплексного подхода, а именно – использования данных антропологии, археологии, этнографии, а также, разумеется, лингвистики, при этом применение методов сравнительно-исторического языкознания предполагает привлечение сведений естественных наук, таких как ботаника, зоология, география.

Относительно близкое родство тунгусо-маньчжурских языков, казалось бы, несколько облегчает задачу поиска той территории, с которой началось распространение диалектов тунгусо-маньчжурского языка-основы в разных направлениях. Во всяком случае, тунгусо-маньчжурская языковая семья существенно моложе, например, уральской, индоевропейской или афразийской. Тем не менее, тунгусо-маньчжурсскую проблему вряд ли можно считать решенной. В работах таких известных специалистов, как Г.М. Василевич, А.П. Окладников, М.Г. Левин, А.П. Деревянко, гипотетическая прародина тунгусов (или шире – тунгусо-маньчжурских народов) постепенно «смещалась» с запада на восток – из Прибайкалья эпохи глазковского неолита в Забайкалье, далее – в Верхнее, а затем и в Среднее Приамурье. При всех различиях этих гипотез общим для них является то, что в них отсутствует опора на лингвистические данные. В предлагаемой вниманию читателей статье предпринимается попытка наметить контуры именно лингвистического решения тунгусо-маньчжурской проблемы.

2.0. Общие сведения о тунгусо-маньчжурских языках

К тунгусо-маньчжурским языкам относятся находящиеся в разной степени под угрозой исчезновения эвенкийский, солонский, эвенский, негидальский, орочский, удэгейский, ульчский, орокский, нанайский и маньчжурский; кроме того, к этой языковой семье принадлежал средневековый чжурчжэнский.

Принципиально важно то, что все тунгусо-маньчжурские языки представлены на Дальнем Востоке (почти от Кореи до самой Чукотки). Разумеется, эвенки и эвены также живут на необъятных просторах Сибири (три небольшие группы эвенков оказались даже на Западно-Сибирской равнине), а сибирские маньчжуры с XVIII века охраняли северо-западные границы Цинской империи в Центральной Азии в Синьцзяне.

Наибольшая концентрация современных тунгусо-маньчжурских языков характерна для территории к востоку от Большого Хингана и к западу от Сихотэ-Алиня. Условным центром этой территории можно считать «середину Среднего Амура» – то место, где на левом берегу этой реки Амурская область граничит с Еврейской автономной областью, а по Амуру проходит их граница с Китаем (с провинцией Хэйлунцзян). Если считать это место «встречи» разных границ центром круга, имеющего радиус 400 км, то в круге этом окажется половина современных тунгусо-маньчжурских языков: маньчжурский, солонский, эвенкийский, нанайский и удэгейский. Если же увеличить радиус до 700 км, то к этим пяти языкам добавятся негидальский, ульчский и орочский; вне большего круга остаются лишь орокский и эвенский. Кстати, обоим последним языкам свойственно максимальное количество глубоких фонетических изменений, что вполне естественно для языков-мигрантов, оторвавшихся от основной части своих родственников и вступивших в контакт с генетически и типологически чуждым языковым окружением. Существенно, что ареал средневекового чжурчжэнского языка, письменные памятники которого известны с XII века, располагался в южном секторе не только большого круга (радиус 700 км), но и малого (радиус 400 км).

Следует подчеркнуть, что почти все тунгусо-маньчжурские народы в полном составе или частично живут (если говорить о чжурчжэньях, то жили) в бассейне Амура – либо на его притоках, а также на соединяющихся с ним озерах, либо на самих его берегах. Целиком за пределами бассейна Амура в настоящее время живут лишь эвены и орохи.

3.0. Классификация тунгусо-маньчжурских языков

Существуют классификации тунгусо-маньчжурских языков с разным количеством таксономических единиц (2, 3, 4). В.И. Цинциус относит конкретные тунгусо-маньчжурские языки либо к «северной подгруппе» (эвенкийский, эвенский, негидальский, солонский), либо к «южной подгруппе» (маньчжурский, нанайский, ульчский, орочский, удэгейский, орочский), при этом В.И. Цинциус подчеркивает, что «деление тунгусо-маньчжурских языков на северную и южную группы» является «традиционным» [Цинциус 1949: 35]. Сторонниками бинарной классификации были также О.П. Суник [Суник 1959: 333–335] и Г.М. Василевич [Василевич 1960: 44], однако при этом к одной группировке они относили маньчжурский с чжурчжэнским, а к другой – все остальные тунгусо-маньчжурские языки. По мнению И.В. Кормушкина, «...фонетические признаки довольно четко разбивают тунгусо-маньчжурские языки на две ветви: северную – эвенкийский, эвенский, солонский, негидальский, орочский, удэгейский, и южную – маньчжурский, нанайский, ульчский, орокский» [Кормушин 1998: 11]. С этим выводом нельзя не согласиться, однако необходимо иметь в виду, что классификация тунгусо-маньчжурских языков по грамматическим признакам дает иные результаты: к одной ветви относятся маньчжурский вместе с близким ему чжурчжэнским, а к другой – все остальные, т.е. нанайский, ульчский, орочский, орочский, удэгейский, негидальский, эвенский, солонский и эвенкийский (это и есть классификация, предложенная О.П. Суником и Г.М. Василевич). На две группы делили тунгусо-маньчжурские языки и раньше (в конце девятнадцатого века и в первой половине двадцатого), однако состав групп был иной: к одной причисляли эвенкийский с эвенским (очевидно, солонский и негидальский считались тогда диалектами эвенкийского), а к другой – все прочие, так что маньчжурский оказывался в одной группе с нанайским и удэгейским. В.А. Аврорин предлагал трехчленную классификацию тунгусо-маньчжурских языков. Она базируется в основном на грамматических особенностях и учитывает их не выборочно, а в комплексе. Приведу цитату: «Изложенное выше мне представляется достаточным, чтобы поставить вопрос о трехчленном делении тунгусо-маньчжурских языков с выделением нанайского, ульчского, орочского, орочского и удэйского языков в самостоятельную группу (“южную”), занимающую промежуточное положение между двумя другими группами и стоящую несколько ближе к “западной” группе, не-

жели к “северной”» [Аврорин 1963: 404]. Поясню, что к «западной» группе В.А. Аврорин отнес маньчжурский и чжурчжэньский языки, а к «северной» – эвенкийский, негидальский, солонский и эвенский. Следует также упомянуть четырехчленную классификацию тунгусо-маньчжурских языков, предложенную Дзиро Икэгами [Ikegami 2001: 395]; от классификации В.А. Аврорина она отличается тем, что удэгейский вместе с орочским рассматриваются в качестве самостоятельной таксономической единицы, а не объединяются с нанайским, ульчским и орокским языками.

Любая классификация родственных языков по сути дела является как бы спрессованной, очень упрощенной и схематизированной историей их генетической общности. Что касается тунгусо-маньчжурских языков, то каждая их классификация по-своему верна. Бинарные классификации ориентированы, по-видимому, на относительно ранние этапы истории этой языковой семьи. Трехчленная и четырехчленная классификации отражают, очевидно, результаты более поздних исторических процессов, причем не только дивергенции, но и конвергенции.

В историко-фонетическом отношении наиболее архаичным среди родственных ему языков является нанайский, за ним следуют ульчский, чжурчжэньский и письменный маньчжурский; на противоположном полюсе находятся эвенский, орокский, удэгейский, современные маньчжурские диалекты, а также солонский – все они существенно, но по-разному фонетически отдалились от гипотетического языка-основы, претерпев в рамках тунгусо-маньчжурской языковой семьи максимум звуковых изменений. Если говорить о лексике, то по числу инноваций (главным образом заимствований) опережают своих родственников маньчжурский и чжурчжэньский. «Лидера» в плане лексической архаичности выявить пока не удалось, однако меньше всего слов, заимствованных из нетунгусоманьчжурских языков, по-видимому, в негидальском.

Что касается морфологии, то все современные тунгусо-маньчжурские языки, вероятно, в немалой степени отличаются от гипотетического прайзыкового состояния, при этом большая их часть пошла по пути усиления синтетических тенденций, в то время как чжурчжэньский и маньчжурский, наоборот, несколько упростили свою морфологию.

4.0. Прайзык, промежуточные прайзыки, а также некоторые принципы локализации «родины языковых предков»¹

С лингвистической точки зрения родиной языковых предков должна быть территория, на которой начали формироваться ветви (группы) языковой семьи.

Больше всего шансов выступать в качестве прайзыки, по-видимому, может быть у территорий, которые являются пограничными в самых разных отношениях: природном, хозяйственно-культурном, антропологическом (имеется в виду физическая антропология) и, наконец, в языковом. Что касается природного аспекта, то речь идет о больших возможностях зарождения языковых семей не на малонаселенных территориях с однообразным ландшафтом (имеются в виду пустыни, степи, бескрайняя тайга, тундра), а на стыке географических зон (например, на границе леса и степи, а также в предгорьях (но не в горах)). Происходившие на сравнительно небольшой, но географически не «монотонной» территории интенсивные этнокультурноязыковые контакты, очевидно, и способствовали образованию языковых семей. Впрочем, это лишь один из путей их образования.

Другой путь формирования группировки родственных языков демонстрируют, например, романские языки, восходящие, как известно, к диалектам народной латыни. Существенно, что вроде бы не было каких-то промежуточных прайзыков, которые связывали бы современные романские языки с их общим предком – народной латы-

¹ Весьма удачный, на мой взгляд, термин «языковые предки» используется в книге [Крюков, Софонов, Чебоксаров 1978: 6–7].

нью. Таким образом, каждый (или почти каждый) романский язык существует сам по себе, т.е. он был и остается относительно самостоятельным в составе группы (ветви) и поэтому классификация романских языков основана обычно на «политико-географическом принципе» [ЛЭС 1990: 422]. Такую ситуацию можно охарактеризовать как специфическую общность родственных языков, каждый из которых по отношению к другим является относительно самостоятельным. При этом прайзык (в частности, народная латынь) в результате экспансии распространялся на новые территории, сменяя аборигенные языки, как бы прораставшие в победителе в виде субстрата. Возможно, именно так возникли группы индоевропейских языков, во всяком случае, на такую мысль наводят весьма любопытные суждения С.Е. Яхонтова по поводу особенностей классификации индоевропейских языков, отдельные группы которых, как правило, не образуют с другими группами каких-то таксономических единиц иного порядка; по мнению С.Е. Яхонтова, группы (ветви) индоевропейских языков можно представить самым простым способом – «через запятую» (с этими суждениями я имел честь ознакомиться во время наших бесед с С.Е. Яхонтовым осенью 2003 г. и осенью 2006 г.). Существуют, конечно, балто-славянская и индо-иранская языковые общности, однако в целом сути дела это не меняет.

В качестве примеров иной модели образования языковой генетической общности можно привести такие группировки языков как, например, славянская, германская или тунгусо-маньчжурская. Без понятия «промежуточный прайзык» здесь не обойтись, поэтому вместо перечисления родственных языков «через запятую» используются схемы их «ветвлений».

Можно предположить, что прайзык не романского, а скажем, тунгусо-маньчжурского типа, представлял собой диалектный континуум, в котором первоначально было два-три «ядерных» диалекта, не восходящих к какому-либо иному, более раннему и исходному для них «прадиалекту». Не исключено, что эта особенность отражает специфику образования прайзыка вследствие произошедшей по каким-то особым экстралингвистическим причинам неполной смены одного языка другим (вследствие «недосдвига»). Живыми примерами недосдвига могут служить так называемые смешанные языки – многократно привлекавшийся для иллюстрации феномена смешения язык медновских алеутов [Меновщиков 1964; Golovko 1996] и никогда не фигурировавший как смешанный язык кур-урмийских нанайцев [Суник 1958] – эвенков, не полностью сменивших свой бывший родной язык на нанайский.

Не лишен смысла вопрос о том, существуют ли в принципе какие-то особенности языка, которые в определенных исторических условиях могут способствовать образованию на его основе семьи или группы родственных языков. Или короче: не может ли быть у некоторых прайзыков неких особых свойств, отличающих их от «непрайзыков»? При положительном ответе на этот вопрос такой спецификой скорее всего должен выступать смешанный, «недосвинутый» характер прайзыка. Разумеется, речь идет лишь о частном случае, но частота такой частности остается опять же под вопросом.

Предложенное выше определение родины языковых предков (территория, на которой начали формироваться ветви языковой семьи) может иметь в качестве своего непрямого следствия довольно простой способ выявления гипотетической прародины: если при языковом родстве «нероманского» типа ареал родственных языков является сплошным (при этом наличие нескольких оторванных от него «островных» языков вполне допустимо) и если все ветви данной языковой семьи «встречаются» в каком-либо одном регионе (или довольно близко от него находятся), то именно этот регион, по-видимому, и следует считать родиной языковых предков. Применительно к тунгусо-маньчжурским языкам при любом количестве и составе выделяемых в них разными специалистами таксономических единиц (ветвей, групп) все эти единицы «встречаются» или расположены близко друг к другу в бассейне Среднего Амура. За пределами очерченного региона оказываются лишь орокский и эвенкийский языки, однако они не образуют ни в одной из классификаций самостоятельных таксономических единиц и относятся к тем, которые имеют своих «представителей» в указанной зоне. Вероятно,

где-то в этой зоне и находился ареал распространения диалектов тунгусо-маньчжурского прайзыка накануне начала их относительно самостоятельного существования и постепенного превращения из диалектов в те родственные между собой языки, которые ныне относятся к тунгусо-маньчжурской генетической общности.

5.0. Некоторые лингвистические приемы локализации тунгусо-маньчжурского прайзыка

5.1. Для «привязки» прайзыка к какой-то определенной территории принято использовать реконструируемые в нем названия растений (см., например, фундаментальную работу [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 612–646], а также аргументацию, представленную чуть ли не в первом подобном опыте локализации тюркского прайзыка в очерке Ю.В. Норманской «Растительный мир. Деревья и кустарники. Географическая локализация прародины тюрков по данным флористической лексики» в книге [СИГ-ТЯ 2006: 387–435]). Забегая вперед, скажу, что «диагностическая» лексика тунгусо-маньчжурских языков (названия некоторых лиственных деревьев, лососевых рыб, а также названия рек) дает основание включать в зону поиска тунгусо-маньчжурской прародины (родины языковых предков) **бассейн Среднего Амура**.

5.2. Определяя родину языковых предков как территорию, на которой начали формироваться основные особенности современных ветвей (групп) языковой семьи, мы должны четко обозначить эти самые особенности.

Применительно к исторической фонетике тунгусо-маньчжурских языков наиболее существенным является то, как в конкретных представителях этой семьи отражаются 1) **прайзыковой инициальный *x²**, сохранившийся в нанайском, ульчском и орокском (при этом *x- > s- перед i), а также в некоторых словах в чжурчжэнском [Певнов 2004: 167, 204, 337, 341, 348], но почему-то не в близкородственном ему маньчжурском, в котором прайзыковой *x- отпал подобно тому, как это некогда произошло в далеком общем предке всех остальных тунгусо-маньчжурских языков – эвенкийского, солонского, эвенского, негидальского, орочского и удэгейского (о переходе *x- > φ- в тунгусо-маньчжурских языках см. работу [Цинциус 1949: 133–135]), 2) **прайзыковой инициальный *p-** (соответствует p- в некоторых диалектах нанайского, в ульчском, орокском, и предположительно в раннем чжурчжэнском; *p- > f- в маньчжурском, в некоторых диалектах нанайского и, по-видимому, в позднем чжурчжэнском; *p- > x- в удэгейском, орочском и негидальском, *p- > h- в большей части эвенкийских и эвенских диалектов, а также, возможно, в «верховском» диалекте негидальского; *p- > φ- в солонском, в некоторых диалектах эвенкийского и эвенского языков) [Цинциус 1949: 135, 148–155], а также 3) **прайзыковой гласный *i** в ряде слов (сохранился в чжур-

² В данной статье в транскрипции (транслитерации) тунгусо-маньчжурских слов и аффиксов при помощи знаков латиницы графемами с гачеком (č, ī, ķ) обозначаются среднесызчные фонемы; графема x передает в зависимости от сингармонизма словоформ заднеязычный или увулярный согласный; графема h обозначает фарингальный, проточный, глухой; графемой ḫ в прайзыковой реконструкции (например: *ጀkጀrጀb ‘горбуша’), а также в одном эвенском примере (ጀkebēe ‘горбуша’) передается гласный относительно более высокого подъема, противопоставленный гласному o относительно более низкого подъема в рамках характерного для тунгусо-маньчжурских языков компактностного сингармонизма; графема é обозначает закрытый гласный вроде французского в слове été ‘лето’; долгота гласных выражается посредством дублирования графемы.

При транслитерации (или транскрипции) латиницей нетунгусоманьчжурских слов (например, нивхских или чукотских) графеме ы кириллицы соответствует графема у латиницы (в древнетюркском и татарском примерах для обозначения ы используется ī), графеме ѹ соответствует j, увулярный смычный глухой передается графемой q, диграф нъ выражается «монографом» ъ.

чжэнском, маньчжурском, нанайском, ульчском и орокском, в остальных тунгусо-маньчжурских языках ему соответствует *i* [Цинциус 1949: 89–92]).

Указанные звуковые изменения по всем признакам никак нельзя считать поздними – начало им было положено, по-видимому, еще тогда, когда происходил постепенный распад тунгусо-маньчжурского прайзыка и когда современные крупные таксономические единицы тунгусо-маньчжурской языковой семьи только начинали формироваться в рамках его диалектного континуума. Об этом свидетельствует то, что во всех шести тунгусо-маньчжурских языках, относящихся по историко-фонетическим признакам к условно северной группировке (в эвенкийском, солонском, эвенском, негидальском, орочском и удэгейском; напомню, что именно эти языки включены в отдельную «ветвь» в работе [Кормушин 1998: 11]), представлены одинаковые или близкие по артикуляции рефлексы прайзыковых звуков *x-, *p-, *i (соответственно *ɸ*, *x-* ~ *h-* ~ *ɸ-*, *i*). Реальность былого существования северной группировки диалектов в составе шедшего к необратимому распаду пратунгусоманьчжурского диалектного континуума подтверждается наличием ряда сепаратных лексических заимствований, отсутствующих в остальных пяти тунгусо-маньчжурских языках, которые восходят к южной группировке того самого древнего диалектного континуума (чжурчжэнский, маньчжурский, нанайский, ульчский, орокский). Имеются в виду несколько ранних заимствований из чукотско-камчатских языков: ср., например, эвенк.³ *ÿeke-* ‘заниматься чем-либо, действовать, поступать; ...’⁴, эвенк. *ÿek-* (те же значения), нег., удэг. *ÿehe-* (те же значения) и коряк. *nike-/neka-*, *nijke-/nejka-* («Слова-заместители с основами *никэ-/нэка-*, *нийкэ-/нэйка-* употребляются, когда говорящий затрудняется произнести слово с конкретной лексической семантикой, требуемое контекстом – забыл, не может сразу вспомнить, не может сразу подобрать нужное слово, не может выговорить (особенно часто – заимствованное слово), избегает употребления какого-либо слова в разговоре» [Жукова 1972: 181]); эвенк. *tirganii* ‘день; ...’, эвенк. *tirgən* ‘1) зенит; 2) полдень’, нег. *tijgani* ‘ дух солнца’, удэг. *tiga-* ‘подниматься (о солнце, луне, звездах)’ [Шнейдер 1936: 72], удэг. *tig'a* в словосочетаниях *inetji tig'ani*, *inetji tig'adini* ‘в полдень’ [КССУЯ 1998: 869] и коряк. *tijkytij* ‘солнце’ («Двусложный корень повторяется не полностью, а с таким расчетом, чтобы повтор представил собой один слог» [Жукова 1972: 58]), чук. *tirkytir*, *tirkynin* ‘солнечный’; эвенк. *čajit* ‘1) бродяга; 2) разбойник; 3) людоед; 4) черт; 5) враг (последнее значение в фольклоре)’, ороч. *čajiti* ‘1) разбойник, бандит, захватчик; 2) сражение, нападение разбойников; 3) вражда’ [Авторин, Лебедева 1978: 252] и чук. *tanqut'an* ‘1) чужак; 2) коряк; 3) европеец’ (мн. ч. *tanqut*), коряк. *tañqutai* ‘противник’. Кстати, по мнению Г.М. Василевич, в языке и этнографии чукчей и коряков, с одной стороны, и тунгусов, – с другой, много общего, что «свидетельствует о древних связях отдаленных предков тунгусов с сибирскими предками современных чукчей и коряков (оленевых)» [Василевич 1966: 338]. Следует отметить, что в условно южных тунгусо-маньчжурских языках вроде бы нет или крайне мало свойственных лишь им древних заимствований; это наблюдение, еще требующее подтверждения, в совокуп-

³ В статье встречаются следующие сокращенные названия языков: айн. (айнский), др.-турк. (древнетюркский), кит. (китайский), кор. (корейский), коряк. (корякский), маньчж. (маньчжурский), монг. (монгольский, или халха-монгольский), нан. (нанайский), нег. (негидальский), нивх. (нивхский), орок. (орокский, или уильта), ороч. (орочский), пратюрк. (пратюркский), т.-м. (тунгусо-маньчжурский прайзык), тур. (турецкий), удэг. (удэгейский), ульч. (ульчский), чук. (чукотский), эвенк. (эвенкийский), эвенк. (эвенский), яп. (японский).

⁴ Приводимые в статье слова самых разных языков (кроме реконструированных слов и корней) имеют ссылку к словарям или иным источникам лексической информации. Не имеющиеся отсылок тунгусо-маньчжурские примеры взяты из [ССГМЯ 1975; 1977], письменно-монгольские – из [MED 1960], монгольские (халха-монгольские) – из [БАМРС 2001], древнетюркские – из [ДТС 1969], корейские – из [КРйРС 1951], нивхские – из [НивхРС 1970], корякские – из [КРкРС 1960], чукотские – из [ЧРС 1957]; иенецкий пример приводится по [НенРС 1955].

ности с некоторыми фактами наличия серьезных грамматических различий дает основания рассматривать южную генетическую группировку тунгусо-маньчжурских языков как наследие не вполне оформленного образования в рамках прайзывового диалектного континуума – похоже на то, что это образование отличалось от северной генетической группировки значительной рыхлостью («недооформленностью») и противоречивостью.

Наличие в исторической фонетике тунгусо-маньчжурских языков четких маркеров, дающих возможность считать то или иное слово наследием прайзывовой или непосредственно постпрайзывской эпохи, позволяет сформулировать весьма важный для нашей темы вывод: для возведения сравниваемых слов к прайзыву (пусть даже на финальном или непосредственно постфинальном этапе его существования) вовсе не обязательно, чтобы эти слова были представлены во всех родственных языках или в одном-двух языках каждой таксономической единицы языковой семьи. Сравниваемые слова, имеющиеся даже в очень ограниченном количестве родственных языков, позволяют приблизиться в их реконструкции к прайзывовому уровню также в том случае, когда в них проявляется действие тех самых «сквозных» историко-фонетических законов, о которых только что шла речь (**x- > ...; *p- > ...; *u > ...*).

5.3. Если обратиться к конкретному материалу, то к нашему немалому удивлению прайзывыми или непосредственно постпрайзывыми оказываются названия не только очень широко распространенных хвойных деревьев (а также повсеместно растущих в Сибири и на Дальнем Востоке берески и осины), но и некоторых относительно южных лиственных, таких как ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica* Rupr.), дуб монгольский (*Quercus mongolica* Fisch. ex Ledeb.) и тополь (тополь Максимовича? – *Populus maximowiczii* A. Непгу). Важно отметить, что ясень маньчжурский и тополь Максимовича растут лишь в той зоне Приамурья, которая относится к Уссурийскому дендрологическому району [ДФДВ 1982: 172, 181, 57]. Северной границей Уссурийского дендрологического района служит прямая линия, проведенная от Амура (примерно от населенного пункта Поярково (≈100 км к востоку от Благовещенска)) до побережья Татарского пролива (приблизительно до поселка Де-Кастри) [ДФДВ 1982: 57].

В этот район, судя по карте, входят и Малый Хинган (по крайней мере, на территории нашей страны), и южная часть Буреинского хребта («Ясень маньчжурский растет в кедрово-широколиственных лесах речных долин» [ЭХКиЕАО 1995: 284]. Если говорить о Буреинском хребте и прилегающей к нему горной системе Малый Хинган, то у первого «склоны гор покрыты елово-пихтовыми и широколиственными лесами» [ЭХКиЕАО 1995: 72], а у второй «склоны гор покрыты кедрово-широколиственными лесами» [ЭХКиЕАО 1995: 161–162]; «Для предгорной части (Малого Хингана. – А.П.) характерны дубовые и смешанные широколиственные леса с дубом монгольским, лилей амурской, кленом мелколистным, ясенем маньчжурским и ильмом долинным» [ДФДВ 1982: 185]).

Приведу названия ясения, дуба и тополя в некоторых тунгусо-маньчжурских языках, а также наиболее вероятную реконструкцию этих названий:

т.-м. **xiwa-gdaa(n)* ‘ясень маньчжурский’ > нан., ульч. *siwagda* ‘ясень’, нан. *si-wagdaan* ‘ясень’ [Оненко 1980: 358], нег., ороч. *iwagda* ‘ясень’, удэг. *jožda* ‘ясень’; в диалектах нанайского языка представлены и другие названия ясения: *silpe* (*silpe too*, *silpe mooni*), *bisikte*⁵, *tičigdeen* [Оненко 1980: 273], *koerē*, а также *bureenkule* ‘молодой ясень’ [Оненко 1980: 83] (наличие возрастного названия ясения свидетельствует о весьма важной роли этого дерева в традиционной культуре нанайцев);

⁵ О характерных для речи нанайцев села Вознесенское Амурского района Хабаровского края названиях ясения *silpe* (*silpe too*, *silpe mooni*) и *bisikte* я узнал от Л.Ж. Заксор; хотел бы искренне поблагодарить ее за эту информацию.

т.-м. **xoloo-pkuraa* (< **xoloo-tku-raa?*) ‘дуб монгольский’ > нан. *xoroo-pkola* (долгота гласного второго слога отмечена Л.И. Сем [Сем 1976: 203] и С.Н. Оненко [Оненко 1980: 473]); ульч. *хойончура* [Суник 1985: 252; ССТМЯ 1975: 471] (< **xoloŋkura*) ~ *хойинчура* ‘дуб’, ороч. *oloŋkæ* ~ *oloŋki* [Аворин, Лебедева 1978: 215] удэг. *oloŋke* ‘дуб’; в маньчжурском языке дуб имеет описательное название (*taŋga too*, буквально: твердое, крепкое дерево), название дуба есть в некоторых дальневосточных территориальных вариантах эвенкийского языка (в урмийском говоре *usikta* [ЭРС 1958: 456], в тунгусских диалектах Маньчжурии *oos'ikta*, *us'ikta*, *čaŋatkura* (в оригинале *čabamkura*) [Shirokogoroff 1944: 106, 146, 175]), а также в негидальском языке (*apkakta*), причем, судя в том числе и по словообразовательному аффиксу *-kta*, первоначально слова *oos'ikta*, *us'ikta* и *apkakta* означали ‘желудь, желуди’, а не ‘дуб’ (кстати, желуди по-маньчжурски называются *taŋga too i usixa*);

т.-м. **xami-gdaan* ‘тополь (Максимовича?)’ > нан. *xamigdaan* ‘тополь’ [Оненко 1980: 450], ульч. *xamugda* ‘вид тополя (из коры его делали поплавки)’ [Суник 1985: 249], ороч., удэг. *amigda* ‘тополь’, маньчж. *amida* ‘осина, мелколистный тополь, из которого делают корыта и пр.’ [ПМРС 1875: 42]; в нанайском языке есть также описательное название ясения: нан. *waankoli mooni*, *waankoli poloni* [Оненко 1980: 90, 450] (буквально: дерево хорька, осина хорька).

Реконструируемый корень **xoloo-* ‘дуб’ можно сравнить с кор. *kal* (каль) ‘дуб’, которое, как считается, связано регулярными фонетическими соответствиями с яп. *kasi* ‘дуб’. Интересно, что нивхское название дуба *ktyu* вполне сравнимо с айским *kōt̚ni* ~ *kot̚ni* ~ *sikomni* ~ *sikomni* ~ *kōt̚ ni* ‘дуб’ (*ni* означает ‘дерево’) – словом, представленным в шести айских диалектах на острове Хоккайдо [AADD 1964: 201]. Все эти соответствия, конечно же, еще требуют серьезного формального обоснования, однако в принципе они указывают на возможность обнаружения каких-то иных, не менее любопытных параллелей между названными дальневосточными языками.

Судя по лексике, вся жизнь носителей тунгусо-маньчжурского прайзыка была связана с лесом (правда, мы не можем установить, какое слово обозначало лес, но это, разумеется, вовсе не говорит о том, что такого слова не было). К прайзыковым определенно относится название лиственницы (**xisi*), название сосны (**žagda*), а также бересы (**pia*) и осины (**pula*). Из этих четырех дендронимов интерес для нашей темы представляет, пожалуй, лишь второй (т.е. **žagda* ‘сосна’). Речь идет о сосне обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.). Цитирую справочник: «Основные площади и запасы древесины сосны обыкновенной на Дальнем Востоке сосредоточены в Амурской области, в Хабаровском крае сосняков очень мало» [Усенко 1984: 27]. И далее: «Самые южные в Хабаровском крае небольшие “островки” сосны встречаются в средней и верхней частях бассейна р. Амгуни. Отсюда южная граница ареала, пересекая среднее течение р. Буреи, идет к устью р. Зеи, а далее – к границе Читинской области. ... Наиболее значительные слитные (а не островные) массивы сосняков произрастают в Амурской области, главным образом в бассейне р. Зеи и северо-западнее его» [Усенко 1984: 27]. Если примерно две тысячи лет назад, т.е. в наиболее вероятное время начала распада пратунгусоманьчжурского языка, ареал сосны обыкновенной не очень отличался от обозначенного в приведенной цитате, то имея в виду прайзыковой характер ее названия (**žagda*), мы можем вполне уверенно говорить о том, что восточная граница исходной территории языковых предков тунгусо-маньчжурских народов вряд ли уходила далеко на восток от границ Амурской области.

5.4. Есть основания полагать, что ареал тунгусо-маньчжурского прайзыка был не просто в лесистой местности, но в то же время в значительной степени и в гористой. Кроме того, местность эта не страдала отсутствием рек, во всяком случае, население в тех краях охотно пользовалось ими для передвижения. О том, что на родине языковых предков тунгусо-маньчжурских народов было много лесов, гор и рек свидетельствует такая лексико-понятийная детализация, которая совершенно не нужна в иных природ-

ных зонах. Приведу несколько примеров: в пратунгусоманьчжурском языке восстанавливается название не только дерева вообще, его ветвей, корня, но и специальное название его вершины (**suwe*), что как самостоятельная лексическая единица вроде бы не встречается в других языках; в тунгусо-маньчжурском прайзыке реконструируется корень, обозначающий не просто гору, а южный, лучше освещаемый и прогреваемый солнцем ее склон (**anta-*), устанавливается также наличие таких корней со «специфической»: **solo-* ‘(плыть) вверх по течению реки’, **xeje-* ‘(плыть) вниз по течению реки’, **dai-* ‘пространство у водоема (а не в лесу, не на горе)’.

Общие названия рек и озер в реконструируемом тунгусо-маньчжурском прайзыке, по-видимому, также отличались детализацией, свидетельствующей о немаловажной их роли в жизни его носителей. Так, не очень крупные реки обозначались словом **bi-ra*, мало изменившим свое звучание в современных тунгусо-маньчжурских языках. Термин для крупных рек наподобие Амура или Сунгари для общетунгусоманьчжурского языкового состояния восстановить не удается, хотя похоже на то, что он был (возможно, он сохранился в маньчжурском, а также чжурчжэньском слове **ila* ‘большая река’). Для озер было также два названия – одно (**ati-*) обозначало озеро, не имеющее выхода в реку, другое (**xeweren*) служило для обозначения озера, соединенного протокой с рекой. Впрочем, последнее слово реконструируется на основе наличия или отсутствия начального звука *x*- не столько для прайзыка, сколько для более позднего состояния.

5.5. Возможно, в тунгусо-маньчжурском прайзыке было слово **detu*, служившее для обозначения мари (марь – «местное название обширных моховых болот и редкостойных заболоченных лиственничников» [ЭХКиЕАО 1995: 163]). Весьма велика вероятность существования в прайзыке других названий болота, мари (**ñaru*, **lewee ~ li-we-*), причем это не синонимия, а результат лексико-понятийной детализации, связанной с теми культурными или природными реалиями, которые жизненно важны для носителей языка. Выше уже приводились примеры такого рода детализации на уровне понятий, получающих отражение в лексике (нан. *bireenkule* ‘молодой ясень’ [Оненко 1980: 83], т.-м. **siwe* ‘вершина дерева’, т.-м. **anta-* ‘южный склон горы’ и некоторые другие). Иллюстрацией лексической детализации может служить реконструируемый для прайзыка корень **ñati-* со специфической узкой семантикой – он обозначает не просто мох, а болотный мох, который использовался, в частности, для конопаченя (ср. нег. *ñatula*, ульч. *ñatulta*). Этим словам, судя по [ССТМЯ 1975: 632–633], соответствует маньчж. *ñamala* ‘зеленый мох у корней деревьев и на камнях в сыром месте’. Кстати, вполне вероятно, что в пратунгусоманьчжурском было также иное название мха, однако при его реконструкции возникают сложности, связанные с изобразительным характером корня, который своим звучанием должен был создавать представление о чем-то мягкому, ср. эвенк. (урмийский говор) *nilvika* ‘мох (торфяной), сфагnum’ с эвенкийским же словом *ñalbi-ta* ‘мягкий’; сюда же, по-видимому, относятся такие варьирующиеся по диалектам названия болотного мха, как, например, эвенк. *laalbi-kta ~ laalbi-kta ~ leelbi-kte ~ lolbi-kta ~ laalbi-kaa ~ naalbi-kaa*. Что касается мха как оленевого корма, то он имеет в реконструкции, вероятно, также образный корень **lawi- ~ *lawi-*, однако неясно, можно ли его связывать с тунгусо-маньчжурским прайзыком или же это какой-то локальный корень, рефлексы которого характерны только для языков оленеводческих групп (ср. эвенк. *lawi-kta* ‘ягель (олений мох)’, ороч. *lauktta* с тем же значением [Аворин, Лебедева 1978: 200]).

5.6. Для локализации пратунгусоманьчжурского языка весьма существенна возможность возведения к нему слова **batip* ‘мерзлота, мерзлая почва’, сохранившимся в такой или фонетически очень близкой форме в эвенкийском, эвенском, ульчском, наайском и маньчжурском языках [ССТМЯ 1975: 77]. Судя по карте «Оледенение и многолетняя мерзлота» [Атлас 1986: 97], современная южная граница подземного

оледенения (многолетней мерзлоты) проходит в виде кривой линии в целом параллельно р. Амур в 50–150 км (кое-где больше или меньше) от ее левого берега.

5.7. Как известно, кета в определенное время года заходит из Тихого океана для икрометания в реки Дальнего Востока, в том числе и в Амур. После нереста крайне истощенная рыба дохнет. Название такой дохлой рыбы, в частности, кеты, можно реконструировать для тунгусо-маньчжурского пражзыка как **kiata*. Соответствующие слова представлены в маньчжурском *k'ata* ‘кета (после икрометания)’, нанайском *kiata* ‘дохлая (о лососевой рыбе)’, а также в других тунгусо-маньчжурских языках, в том числе (и это самое интересное!) в диалектах эвенского (ср., например, арманско, охотское и саккырырское *kééta* ‘кета’). Наличие в пратунгусоманьчжурском слова **kiata* ‘кета (дохлая, после икрометания)’ прямо указывает на единственно возможный ареал расселения носителей этого гипотетического языка – это, конечно же, бассейн Амура. Интересно, что пратунгусоманьчжурское слово **kiata* ‘дохлая после икрометания рыба из семейства лососевых, в частности, кета’ имеет соответствие в чукотско-камчатских языках (коряк., чук. *qetaqet* ‘кета’ (редупликация корня)), однако в нивхском названия лососевых рыб не соответствуют ни тунгусо-маньчжурским, ни чукотско-камчатским.

Общим по происхождению в подавляющем большинстве тунгусо-маньчжурских языков является название горбуши [ССТМЯ 1977: 256] – «рыбы из рода тихоокеанских лососей семейства лососевых» [ЭХКиЕАО 1995: 96]. Думаю, что для пратунгусоманьчжурского языка название горбуши следует восстанавливать как **ôkôrôô*, т.е. с относительно более высоким по подъему гласным, принадлежавшим в плане сингармонизма к той же «серии», что и гласный *e* (в урмийском и чумиканском говорах восточного наречия эвенкийского языка соответствующее слово звучит как *ikigii*, в орочском – как *oko*, а в негидальском, согласно нашим с М.М. Хасановой экспедиционным записям, – как *eheje*). Непонятна, правда, причина появления согласного *b* в эвенском слове *ôkebee* (Өкэбэ) ‘горбуша’. Кроме того, у якобы корреспондирующего маньчжурского слова *ukuri* [ССТМЯ 1977: 256] семантика передается в словаре И. Захарова весьма неопределенно («укури – название рыбы с мелкой чешуей, похожей на ябса и заходящей в реки из восточного моря» [ПМРС 1875: 143]).

Возможно, к пратунгусоманьчжурскому восходит название кеты в маньчжурском (*dafaxa*, где -ха словообразовательный аффикс), нанайском, ульчском, орокском, удэгейском, орочском и негидальском языках (*dawa*). При этом в [ССТМЯ 1975: 185] отмечена не фиксируемая нами долгота гласного второго слога негидальского слова, которое, как верно указано в Словаре, обозначает кету осеннюю, летняя же кета называется по-негидальски *élkin*, что соответствует нанайскому *silkî* и ульчскому *silči(n-)* с аналогичным значением [ССТМЯ 1975: 309]. Название летней кеты в нанайском, ульчском и негидальском языках следует реконструировать с начальным **x-*, т.е. или как **xilkin*, или как **xilkun* (закон соответствия гласного *i* в языках условно северной группировки тунгусо-маньчжурских языков гласному *u* в языках условно южной группировки в данном уникальном случае «действует наоборот», т.е. в негидальском можно было бы ожидать *élkin*, а в нанайском и ульчском соответственно *silkû* и *silču(n-)*). Летняя кета «заходит в реки в июле, нерест – в августе, мечет икру в нижних участках р.Амур, на севере доходит до р. Анюй» [ЭХКиЕАО 1995: 131]. Итак, летняя кета, по крайней мере, в наше время не доходит даже до Среднего Амура, чего нельзя сказать о кете осенней: «Нерестилища осенний кеты в основном выше Хабаровска, особи этой формы доходят до рек Аргуни и Онона» [ЭХКиЕАО 1995: 131].

5.8. Топонимика, а точнее, названия рек («потамонимов» – от греческого *ποταμός* ‘река’), как будто подтверждает локализацию родины языковых предков тунгусоманьчжурских народов в южной части Дальнего Востока – в бассейне реки Амур. Так, при ознакомлении с потамонимами бассейна Нижнего Амура (только, к сожалению, не в той форме, в какой они представлены в местных языках) можно прийти к выводу

о том, что немалая их часть имеет в исходе звук *-r* (далее все потамонимы, представленные в [ЭХКиЕАО 1995] приводятся в записи кириллицей):

Аир (иначе *Гайча(н)*), длина 54 км, правый приток р. *Горин*;
Амер, длина реки 112 км, приток р. *Улика*;
Аур, длина реки 74 км, левый приток р. *Большой Ин*;
Батур, длина реки 29 км, приток р. *Акиба* в бассейне *Буреи*;
Боктор (иначе *Вокчор*), длина 35 км, левый приток р. *Горин*;
Большой Будюр, длина реки 28 км, приток р. *Кур*;
Гур, длина реки 349 км, впадает в протоку *Гурская*;
Джаур, длина реки 88 км, левый приток р. *Гур*;
Дитур, длина реки 79 км, правый приток р. *Утура*;
Кульдур, длина реки 64 км, левый приток р. *Бира*;
Кур (иначе *Олгон*), длина 434 км, левый приток р. *Тунгуска*;
Обор, длина реки 142 км, правый приток р. *Сита*;
Пир, длина 34 км, приток р. *Манома*, впадающей в р. *Ануй*;
Санар, длина реки 41 км, приток р. *Кур*;
Сутар (иначе *Сутара*), длина 123 км, правый приток р. *Бира*;
Сюмнюр, длина реки 77 км, впадает в оз. *Болонь*;
Тудур (иначе *Мачтовая*), 103 км, правый приток р. *Амур*;
Уктур, длина реки 86 км, правый приток р. *Гур*;
Укур, длина реки 103 км, левый приток р. *Симми*;
Хар, длина реки 66 км, впадает в оз. *Гасси*;
Хор (иначе *Пор*, *Хоро*), 453 км, правый приток р. *Уссури*;
Эвур, длина реки 283 км, впадает в оз. *Эворон*;
Элеор, длина реки 65 км, левый приток р. *Харни*.

Звук *-r* имеется также в исходе нескольких названий рек бассейна Охотского моря (*Ир*, *Луктур*, *Нетер*, *Тугур*, *Чогар*). На *-r* оканчиваются, по крайней мере, два названия рек бассейна Татарского пролива (*Акур*, *Чичимар*). В Читинской области есть реки *Амазар*, *Газимур*, *Джалир*, *Калар*, *Тунгир*. Любопытно, что и в бассейне Лены есть река, название которой оканчивается аналогичным согласным (*Учур*)⁶.

В современной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Амурской областью, и с Ерейской автономной областью, имеется ряд потамонимов, оканчивающихся специфическим китайским звуком, которым обычно передается *-r* в исходе иноязычных слов, в том числе и имен собственных (названия рек приведены здесь так, как они представлены на географических картах, изданных в Советском Союзе):

Амуэрхэ, *Хумаэрхэ*, *Нюэрхэ*, *Таоэрхэ*, *Добуэрхэ*, *Хайлар*, *Нэмэрхэ*, *Уюр*, *Цихоэрхэ* и, возможно, некоторые другие (хэ по-китайски означает 'река'; *Амуэрхэ*, *Хумаэрхэ*, *Нюэрхэ*, *Таоэрхэ*, *Добуэрхэ*, *Цихоэрхэ* на самом деле произносятся по-китайски примерно как *Амурхэ*, *Хумархэ*, *Нюрхэ*, *Тарухэ*, *Добукурхэ*, *Цихорхэ*, причем звук *r* чем-то напоминает английский или скорее американский *r*).

Формант *-r*, по-моему, имеется или реконструируется в таких ключевых для юга Дальнего Востока потамонимах как *Амур*, *Сунгари* и *Уссури*. Гласный *i* в исходе названий *Сунгари* и *Уссури* является, по-видимому, поздним, вторичным; оба потамонима заимствованы из маньчжурского, где в конце слова звук *r* либо отпадал (если этот *r* следовал непосредственно за долгим гласным), либо «прикрывался» эпитетом в виде гласного *i*. Реконструированные потамонимы **Sungar* и **Usur* (ср. *Ушур* в русских ис-

⁶ Сведения о реках бассейнов Нижнего Амура, Охотского моря, Татарского пролива и Лены указаны по работе [ЭХКиЕАО 1995: 291–305], в которой они, в свою очередь, приведены по данным Дальгидромета [ЭХКиЕАО 1995: 305].

торических документах) в отношении конечного согласного соответствуют русскому названию реки Амур (в ранних источниках *Омур* и даже вроде бы *Момур*⁷, что уже вполне можно сравнить, например, с фонетически весьма архаичным негидальским названием этой реки *Матгу* (< **Matγur*?), ср. также нанайское ее название *Maγbo*, ульческое *Maγgi*). Кроме того, на -r оканчивается потамоним *Silker* ~ *Šilker* – так тунгусы называли Амур в среднем и верхнем его течении, а также реку Шилку, которая, как известно, сливаясь с Аргунью, и образует Амур (кстати, гидроним Шилка является адаптацией тунгусского *Šilker*). А.Ф. Миддендорф приводит два аборигенных названия Амура: *Má̄tgu* и *S'ilkirj* [Миддендорф 1878]. А.О. Ивановский дает в своих словарных материалах солонское название Амура *Ширкэл* (явная метатеза; имеющиеся в оригинале диакритические знаки указывают, очевидно, на ударение на втором слоге и на палатализацию согласного л) и со ссылкой на Р.К. Маака название этой реки у маньгров (*Silkär*) [Ивановский 1894: 29].

Интересно, что территория, на которой конечный звук r в названиях рек встречается не столь уж редко, в какой-то степени совпадает с ареалом памятников раннесредневековой археологической культуры мохэ.

На территории распространения потамонимов, оканчивающихся аффиксом -r, бывает также другое аффикальное оформление названий рек. К числу таких аффиксов, по-видимому, относятся -ми, -мин, -ма, -ра, -ли, а также -кан, обладающий диминутивным значением.

Весьма существенным представляется то, что название реки Амгунь, имеющееся в арсенале имен собственных ульчского и негидального языков, ввиду наличия в первом и отсутствия во втором анлаутного звука x (ульч. *Xeŋgi*, нег. *Eтγin*) следует считать очень древним, восходящим по меньшей мере к тому далекому времени, когда такое соответствие между родственными языками еще только вступало в свои права, т.е. когда звуковой переход *x- > *h- > φ- был еще живым, актуальным, а не историческим. По-видимому, река Амгунь в верхнем ее течении была на периферии той территории, которая осваивалась носителями тунгусо-маньчжурского прайзыка на самом позднем этапе его существования или, может быть, в то время, когда две основные диалектные зоны прайзыка стали основой так называемых промежуточных прайзыков – условно южного и условно северного (потомком первого является, в частности, ульческий язык, а среди потомков второго числится негидальский). Кстати, вполне возможно, что негидальное название Амгуни (*Eтγin*) имеет субстратное происхождение и негидальным языком было некогда воспринято из родственного ему языка, скорее всего, близкого к предку орочского, а также удэгейского.

5.9. Названия а) летней кеты в нанайском, ульчском и негидальском языках, б) дуба, ясения и тополя в нанайском, ульчском, маньчжурском, удэгейском, орочском и негидальском языках, в) реки Амгунь в ульчском и негидальском языках позволяют наметить географические контуры тунгусо-маньчжурской прародины и прилегавших к ней территорий на основе «правила анлаутного x-», которое формулируется следующим образом: если в сравниваемых словах тунгусо-маньчжурских языков наблюдается соответствие анлаутного x- нулю звука, то слова эти восходят как минимум к периоду формирования двух ныне существующих таксономических единиц на базе прайзыковых диалектов, а именно – условно северной группировки тунгусо-маньчжурских языков (как было уже сказано, в нее входят эвенкийский, солонский, эвенский, негидальский, орочский и удэгейский языки) и условно южной (к ней относятся нанайский,

⁷ Если мне не изменяет память, о таких письменно засвидетельствованных российскими землепроходцами вариантах названия Амур (*Омур*, *Момур*) я узнал от Б.П. Полевого; пользуясь случаем, хотел бы помянуть добрым словом этого эрудированного специалиста по истории российского Дальнего Востока.

ульчский и орокский, а также, с некоторыми существенными оговорками, маньчжурский и чжурчжэньский).

Отражение анлаутного *x- в современных тунгусо-маньчжурских языках позволяет говорить о том, что носители прайзыка (все, а может быть, лишь какая-то их часть) или ближайших к нему по времени языков-потомков по крайней мере знали о существовании такой рыбы, как летняя кета (**xilkin* ~ **xilkun*), таких деревьев, как дуб монгольский (**xoloo-pkuraa* (< **xoloo-tki-raa*?)) или ясень маньчжурский (**xiwa-gdaa(n)*), а также такой реки, как Амгунь (*Хемдун). В этих и других подобных случаях формулировка «знали о существовании» является, несомненно, логически более приемлемой, чем выводы типа «носители прайзыка жили там, где...» или «носители прайзыка использовали в хозяйстве...». Например, очевидная возможность возведения к прайзыковому состоянию слова **latuu* (**laati?*) ‘море’ вовсе не свидетельствует о том, что исходная территория носителей прайзыка прилегала к берегу моря⁸ (кстати, т.-м. **latuu* (**laati?*) ‘море (а также, вероятно, название озера Байкал)’ имеет закономерное соответствие не только, например, в ненецком *jam'* (значком ’ передается назализованный гортанный смычный) ‘море; большая река’, но и в монгольском письменном *natiy* ‘болото’ (соответствие слов, означающих ‘море’ и ‘болото’, характерно для некоторых индоевропейских языков)). С другой стороны, вряд ли кому-нибудь придется в голову использовать невозможность обоснованно возвести какое-либо название жилища (например, **žiiy*) к пратунгусоманьчжурскому языковому состоянию как доказательство отсутствия жилища у носителей прайзыка.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: если звуковое соответствие, которое берет начало в диалектах прайзыка, проявляется в словах, обозначающих какие-то специфические объекты, свойственные в своей совокупности только одному определенному ареалу на географической карте, то открывается реальная возможность локализации этого прайзыка либо в пределах самого этого ареала, либо на какой-то смежной с ним территории.

6.0. Предположительный возраст тунгусо-маньчжурской языковой семьи

Для установления времени раздельного существования тунгусо-маньчжурских языков (или, что то же самое, абсолютного возраста этой генетической общности) можно попытаться использовать метод глottoхронологии.

По моим подсчетам максимальное время расхождения дают эвенкийский и маньчжурский языки, однако нанайский, как ни странно, оказался в одинаковой степени близок как эвенкийскому, так и маньчжурскому [Певнов 1984: 32]⁹:

ЯЗЫКИ	ВРЕМЯ РАЗДЕЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Эвенкийский и маньчжурский	2000 лет
Эвенкийский и нанайский	1200 лет
Нанайский и маньчжурский	1200 лет

Для подтверждения правильности установленного таким методом возраста тунгусо-маньчжурской языковой семьи (~2000 лет) попробуем применить предложенный С.Е. Яхонтовым способ «оценки степени близости родственных языков». С.Е. Яхон-

⁸ При том, что языковые предки тунгусо-маньчжурских народов жили, по-видимому, на немалом расстоянии от моря (и от Японского, и от Охотского), в их реконструируемом прайзыке было не только слово, обозначавшее море (**latuu*), но также восстанавливаются, как ни странно, названия таких морских животных, как кит (**kaalima* ~ **kalimi*,ср. нивх. *qalm* ‘небольшой кит’) и нерпа (**peete*).

⁹ Искренне благодарю С.Е. Яхонтова за консультации по поводу глottoхронологии.

товым разработана шкала, «основанная не на возрасте языковых различий, а на их практическом значении для носителей языков или для исследователей» [Яхонтов 1980: 150]. Из шести градаций этой шкалы для нашей темы интерес представляют третья и четвертая. Различия между нанайским и эвенкийским языками соответствуют на этой шкале третьей степени родства: «Носители разных идиом не могут свободно общаться, но постоянно слышат в речи друг друга знакомые слова и даже короткие фразы. Говорящий на одном языке может научиться понимать другой, “постепенно привыкая” к нему, без учебника или переводчика. Таковы отношения между русским и болгарским или польским, турецким и татарским, тхайским (сиамским) и шанским. Возраст таких различий – 1000–1500 лет» [Там же: 151]. Различия между эвенкийским и маньчжурским вполне отвечают четвертой степени родства: «общение невозможно, но при систематическом изучении языков мы обнаруживаем множество общих слов (почти для всех основных понятий) и правил грамматики, включая и сходство очень многих грамматических морфем... Примером могут послужить английский и шведский языки, но, может быть, также и значительно дальше отстоящие друг от друга русский и литовский. Возраст различий, соответствующий этой степени родства, – не менее 2000 лет» [Там же: 152]. Что касается различий между нанайским и маньчжурским, то их следует отнести или к четвертой степени, или же поместить где-то между четвертой и третьей (но ближе все-таки к четвертой). Таким образом, в соответствии с этим оригинальным методом оценки абсолютного возраста тунгусо-маньчжурская языковая семья должна быть не моложе двух тысяч лет (причем вряд ли она существенно старше).

Еще одним способом определения приблизительного абсолютного возраста тунгусо-маньчжурской языковой семьи является предпринимаемая ниже попытка установить связь между таким важным термином материальной культуры тунгусоманьчжуроязычных народов как название железа и датировкой появления и повсеместного распространения этого металла на интересующей нас территории в рамках определенной археологической культуры. Суть дела в том, что название железа является общим для всех без исключения тунгусо-маньчжурских языков, для гипотетического пражзыка оно легко реконструируется как **sele* (кстати, именно так оно и звучит у большей части современных представителей этой языковой семьи, а именно – в некоторых диалектах эвенкийского, солонского, в негидальском, орочском, удэгейском, ульчском, орокском, нанайском, маньчжурском и, вероятно, так же его следует восстанавливать для чжурчжэньского языка). Примечательно, что соответствующего слова нет ни в монгольских, ни в тюркских языках. Нечто подобное есть лишь в корейском (чхэль), где оно явно из китайского (причем в весьма древнем его состоянии), однако этимологическая связь корейского слова чхэль ‘железо’ и, например, нанайского или удэгейского *sele* ‘железо’ не представляется убедительной в отношении звуковых соответствий. Сам факт наличия в реконструируемом пражзыке названия железа, а также названия только ему иногда свойственной ржавчины (**sem̥tu*) свидетельствует о том, что с этим исключительно важным для культурного прогресса металлом далекие языковые предки современных тунгусо-маньчжурских народов познакомились еще тогда, когда пражзык представлял собой единое целое в виде континуума влиявших друг на друга диалектов. Иначе говоря, общетунгусоманьчжурское название железа дает возможность установить примерную нижнюю временную границу начала распада пратунгусоманьчжурского языка («распад мог начаться не ранее такого-то времени»); понятно, что верхней границы («распад мог закончиться не позднее такого-то времени») не существует в принципе, поскольку железом носители соответствующих языков продолжают пользоваться, естественно, до сих пор.

Обратимся теперь к доступным нам археологическим данным. В Приамурье, в частности на Среднем Амуре, крайне немногочисленные изделия из железа появляются, видимо, где-то в конце 2-го тысячелетия до нашей эры [Деревянко 1973: 243], однако только после VIII–VII веков до нашей эры, т.е. в период польцевской культуры, «железо почти вытесняет камень» [Деревянко 1973: 270]. Таким образом, освоение

ние железа на территории Среднего Приамурья приходилось в основном на первую половину первого тысячелетия до нашей эры, во второй же половине этого тысячелетия железо уже навсегда заняло здесь прочные позиции.

Странным представляется то, что для железа в тунгусо-маньчжурском прайзыке было свое, во всяком случае, не заимствованное из монгольских или тюркских языков название (**sele*), в то время как названия серебра (**teđgun*) и меди (**čiiri(-)*), изделий из железа (топора (**suke*), копья (**gida*), крюка, например, для подвешивания котла (**goko*)), а также некоторых инструментов для его кузнечной обработки (молота (**paluka*), кузнечного меха (**kiurge*)) определенно имеют монгольское происхождение. Заимствование всех этих терминов культуры из прамонгольского в пратунгусо-маньчжурский кажется совершенно естественным, потому что монгольское влияние на тунгусо-маньчжурский прайзык было весьма глубоким хотя бы по той простой причине, что прамонгольский был, очевидно, его непосредственным соседом.

7.0. Некоторые хозяйствственно-культурные особенности носителей тунгусо-маньчжурского прайзыка

Итак, «пратунгусоманьчжуры» определенно были знакомы с навыками обработки металлов, о чем свидетельствует лексика, как только что было сказано, большей частью заимствованная из какого-то древнего монгольского источника (кроме названия железа).

Вряд ли будет ошибкой сказать, что носители прайзыка не занимались земледелием – ведь если бы было иначе, то в современных тунгусо-маньчжурских языках обязательно сохранилось бы хоть что-нибудь в лексике, что так или иначе указывало бы на это (например, возможность прайзыковой реконструкции слова, обозначающего зерно). Кстати, тунгусо-маньчжурская языковая семья отличается от многих других отсутствием такого названия соли, которое было бы этимологически общим для всех ее представителей. В языках народов, имеющих земледельческие традиции, название соли можно причислить чуть ли не к базисной лексике, обладающей очень высокой степенью сохранности (т.е. незаменимости заимствованиями или синонимами, хотя, впрочем, синонимия возникает довольно поздно как особенность языков, имеющих письменную традицию). Это касается, например, индоевропейских, а также китайско-тибетских языков; впрочем, общее название соли характерно и для тюркских языков, что дает возможность восстанавливать его в пратюркском, носители которого были, вероятно, в какой-то мере знакомы с земледелием (во всяком случае, с его продуктами), однако главным их занятием несомненно было скотоводство. Итак, наличие в какой-либо языковой семье восходящего к прайзыку названия соли еще не является доказательством наличия земледелия у его носителей, отсутствие же общего для языковой семьи названия соли должно, по-моему, указывать на отсутствие земледелия у говоривших на прайзыке. В этой связи заслуживает внимания тот факт, что в тунгусо-маньчжурских языках имеется семь разных по происхождению слов, обозначающих соль [Певнов 1985: 19–35] и это косвенно свидетельствует о несущественной ее роли в приготовлении пищи далекими языковыми предками тунгусо-маньчжурских народов и, стало быть, о неземледельческом хозяйстве этих самых предков.

Поскольку мы коснулись некоторых пищевых особенностей пратунгусоманьчжур, то не будет лишним сказать о двух словах, реконструируемых на прайзыковом уровне: 1) т.-м. **sila-* ‘жарить рыбу или мясо на рожне’ (соответствует пратюрк. **sīł* ‘вертел, рожон’, ср. др.-турк. *sīš ~ šīš* ‘вертел’, из тюркского же источника в значительно более позднее время было заимствовано и русское слово *шашлык* [Фасмер 1973: 416–417]) и 2) т.-м. **talaka* ‘рыба или мясо, употребляемые в пищу в сыром виде’. Отмечу попутно, что такое вроде бы «очень нивхское» слово как *talk* ‘строганина из свежей или мороженой рыбы’ имеет тунгусо-маньчжурское происхождение, причем морфонологическое варьирование согласных в начале нивхского слова (*talk / dalk /*

ralk) требует восстанавливать его как **dalk* < **dalaka*; любопытно также, что из какого-то тунгусо-маньчжурского языка, скорее всего, из эвенкийского, было заимствовано русскими говорами Приамурья слово *тала* ‘кушанье из мелко нарезанной рыбы’, указанное в [СРГП 1983: 295].

По поводу разведения и содержания домашних животных можно сказать следующее. В тунгусо-маньчжурском прайзыке вполне надежно восстанавливаются только два названия домашних животных – собаки (**yinda(-kun)* ~ **yina(-kun)*) и лошади (**turin*). Под вопросом остается наличие названия домашнего оленя – в подавляющем большинстве тунгусо-маньчжурских языков домашний олень называется *oro(n)*. Есть это слово и в маньчжурском (*orōn* ‘домашний олень’), однако непонятно, является ли оно исконным или заимствовано из тунгусского языка. Кстати, в орокском и орочском языках представлены варианты иного названия домашнего оленя (орок. *ulaa* ‘домашний олень’ [Ikegami 1997: 218], ороч. *ulaa* ‘домашний олень’ [Авторин, Лебедева 1978: 238]); в конечном счете эти слова восходят, по-моему, к какому-то древнему монгольскому источнику (ср. монг. *ipaas(n)* ‘верховое животное, верховая лошадь, верблюд’ < **ipaṣa* < **ulaṣa*)¹⁰.

Название лошади в тунгусо-маньчжурских языках (**turin*) имеет монгольское происхождение, при этом заимствование произошло, скорее всего, еще в пратунгусоманьчжурский период, о чем свидетельствует, во-первых, наличие соответствий во всех представителях этой семьи [ССТМЯ 1975: 558–559], а во-вторых, наличие гласного *и*, а не *о* в первом слоге¹¹ (т.е. *turin*, а не *morin* (*mor'*), как в монгольских языках).

О том, что носители пратунгусоманьчжурского языка вполне могли разводить лошадей и использовать их в хозяйстве, свидетельствует не только реконструируемое для него название лошади, но также возводимое к прайзыку слово с корнем **oro-* ‘трава, сено’ (соответствующие слова имеются во всех тунгусо-маньчжурских языках [ССТМЯ 1977: 24]). Интересно, что в языках тех народов, которые не занимаются коневодством (например, в эвенском, негидальском, орочском, удэгейском, орокском, нанайском, а также в эвенкийском¹²), есть слова, означающие ‘сено’, а если говорить точнее, то семантика их несколько шире, например, эвенское *oraat* имеет следующие значения: ‘трава (старая, высохшая); сено; солома’. По-видимому, наличие таких слов

¹⁰ О том, что интервокальный звук *l* в монгольском слове *ipaas(n)* ‘верховое животное, верховая лошадь, верблюд’ восходит к *l*, свидетельствует звучание соответствующего древнетюркского слова *ulay* (< **ulaṣa*) ‘вьючное животное, верховой конь’; последнее должно быть монголизмом, поскольку монг. *ipaas(n)* образовано от глагола *ipa-* ‘садиться верхом, ездить верхом’, в то время как древнетюркское название вьючного животного *ulay* является непроизводным и, следовательно, заимствованным (следует отметить, что в «Древнетюркском словаре» в статье «ULAÝ II» объединены слова, имеющие разную этимологию: *ulay* ‘вьючное животное, верховой конь’ и *ulay* ‘почтовый транспорт на перегонах между станциями’ [ДТС 1969: 608]). Также, на мой взгляд, ошибкой является включение в «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков» в одну и ту же словарную статью орочского и орокского названий домашнего оленя (*ula*) вместе с этонимами типа *ujla* ‘орок’ [ССТМЯ 1977: 262–263]; кстати, такое сравнение впервые было предложено Л.Я. Штернбергом [Штернберг 1933: 396].

¹¹ Гласный *о* (а не *и*) в первом слоге слова, означающего ‘лошадь’, мы видим в четырех тунгусо-маньчжурских языках – в солонском, негидальском, нанайском и маньчжурском [ССТМЯ 1975: 558–559]. Что касается негидальского и нанайского, то такое качество гласного объясняется действием закона сингармонизма в этих языках. Маньчжурское и солонское названия лошади можно квалифицировать как весьма поздние монголизмы, заменившие более раннее **turin*, которое совпадает по звучанию с также реконструируемым чжурчжэнским названием этого животного.

¹² Некоторые группы эвенков Забайкалья и Приамурья были коневодами, однако слово, означающее ‘сено’ (точнее, ‘трава (старая, высохшая); сено; солома’ [ССТМЯ 1977: 24]) есть во всех многочисленных эвенкийских диалектах, в том числе и в тех, носители которых являются оленеводами.

в языках неконеводческих народов можно объяснить тем, что их далекие языковые предки в какой-то степени были знакомы с коневодством. Кстати, в языке таких классических коневодов, как монголы, также нет слова, которое обозначало бы только сено – например, в халха-монгольском языке *əws(ən)* означает ‘трава; сено’.

Вероятно, прайзыковыми или же непосредственно постпрайзыковыми могут быть в тунгусо-маньчжурских языках три термина, связанных со скотоводством (скорее всего, с оленеводством). К такому выводу позволяет прийти уже известное нам «правило анлаутного *x*-»: 1) в одних тунгусо-маньчжурских языках интересующие нас слова начинаются согласным *x*- (а если перед *i*, то согласным *s*-), например, в орокском: *xakta-* ‘кастрировать’, *xamatana* ‘олень (самец 5–6 лет)’, *silma* ‘недоуздок’; 2) в других тунгусо-маньчжурских языках начальный *x*- в семантически и фонетически соответствующих словах отсутствует (например, в эвенкийском: *akta-* ‘кастрировать оленя’, *atarkaan* ‘олень (бык 5 лет и старше)’; медведь (самец от 5 лет и старше), *intan*, *inttar* ‘недоуздок’); 3) следовательно, рассматриваемые слова восходят к тому времени, когда происходило формирование двух основных ветвей тунгусо-маньчжурских языков – условно северной и условно южной (имеется в виду классификация на основе главным образом историко-фонетических данных).

Интересно, что в орокском и нанайском *xakta-* ‘кастрировать’ имеется начальный звук *x*-, который отсутствует в соответствующем письменно-монгольском слове *aŋala-* ‘кастрировать’. Случаи такого рода исключительно редки и необъяснимы.

Хотелось бы также отметить, что орок. *xamatana* ‘олень (самец 5–6 лет)’ этимологизируется следующим образом: *xamatana* < *xatačana* < *xamarkana* (**xamar-kana*, где производящая основа **xamar-* имела значение ‘задний; поздний’, ср. эвенк. *yoŋarkaan* ~ *yoŋarkana* ‘олень-бык (3–4 лет)’ < *yoŋ-* ‘опередить, обогнать’, орок. *notono* ~ *yoŋono* < **yoŋkono* ‘олень-бык (четырех-пяти лет, ездовой)’). Таким образом, оба этих оленеводческих термина являются и очень древними (ввиду наличия / отсутствия начального звука *x*-), и безусловно исконными, незаимствованными, поскольку они имеют внутреннюю форму («поздний» и «ранний»).

8.0. Соседи тунгусо-маньчжурского прайзыка и его непосредственных потомков

Если говорить о лексических заимствованиях в пратунгусоманьчжурском языке, то в нем было значительное количество монголизмов; в качестве примеров приведу пару немаловажных в культурном отношении сравнений, остававшихся до сих пор незамеченными: т.-м. **soona* ‘дымовое отверстие в жилище’, ср. п.-мо. *toŋuna* ‘дымовое отверстие юрты’¹³; т.-м. **xöld(-)* ‘белка’, ср. п.-мо. *xili-žana* ‘мышь, крыса’ (кит. *songshu* ‘белка’ буквально означает ‘сосновая мышь (крыса)’). Кроме монголизмов, тунгусоманьчжурские языки заимствовали в далеком прошлом из неизвестного тюркского языка сравнительно небольшое число слов, которые, впрочем, вовсе необязательно должны относиться к пратунгусоманьчжурскому языковому состоянию; имеются в

¹³ Не известное до сих пор соответствие звуков *t* и *s* в начале некоторых слов связывает между собой не только определенное количество тюркских и монгольских слов с тунгусоманьчжурскими (например: маньчж. *se-* ‘говорить’ и др.-турк. *te-* ‘говорить, сказать’, маньчж. *sežen* ‘телега’ и п.-мо. *tergen* ‘телега’, эвенк. *sill* ‘одежда (верхняя)’ и др.-турк. *ton* ‘одежда’, эвенк. *tiireen* ‘слово’ и др.-турк. *söz* ‘слово, речь’, эвенк. *tereē-* ‘устоять, вытерпеть, выдержать’ и др.-турк. *ser-* ‘терпеть, выносить; оставаться в одном положении, задерживаться, застывать’), но существует также внутри самой тунгусо-маньчжурской семьи языков (имеется в виду лежащее на поверхности сравнение, например, эвенкийского *tipa* ‘пять’ с маньчжурским *sunža* с тем же значением, а также остававшееся почему-то без внимания аналогичное соответствие эвенкийского *turga-* ‘подпереть; распереть (палкой); опираться (на палку)’ и маньчжурского *suža-* (< **turga-*) ‘подпирать; опираться (на посох); ...’).

виду, например, следующие сравнения с одинаковым звуковым соответствием тунгусо-маньчжурского *l* (не *r*, как ни странно, а почему-то именно *l*) тюркскому *z*: т.-м. **tal-**lu*- ‘береста’, маньчж. *tolxon* ‘береста’ и др.-турк. *tog* с тем же значением; т.-м. (условно северное) **ôleek* ‘ложь, лживый’ и др.-турк. *ezük* ‘ложь, лживый’; эвенк., нег., ороч., удэг., ульч., орок., нан. *tule-* ‘поставить, насторожить (ловушку, самострел)’ и др.-турк. *tuzaq* ‘силок’; интересно в этой связи соответствие между, например, эвенкийским словом *kalan* ‘котел’ и, скажем, татарским *qazap* с тем же значением, между эвенкийским фольклорным *kiliwlii* ‘девушка, сестра’ и татарским же (а вообще-то общетюркским) словом *qız* ‘девушка’, между удэгейским *sala^ha* ‘болото (лесное)’ и татарским *saz* ‘болото’ (при этом следует иметь в виду, что в дахурском (дагурском) языке есть весьма близкое к удэгейскому название болота: *Чáлага* [Ивановский 1894: 55]). Эти еще не предлагавшиеся и в некоторых отношениях не совсем надежные (а то, может быть, и совсем не верные) сравнения приведены для того, чтобы показать неполноту информации, а иногда и полное отсутствие сведений о древних контактах тунгусо-маньчжурских языков.

Праязыковых заимствований из древнего или архаического китайского в тунгусо-маньчжурском праязыке нет, а если говорить точнее, то пока не обнаружено (поэтому не подтверждается гипотеза С.М. Широкогорова о приходе предков тунгусов из междуречья Хуанхэ и Янцзы), однако в общий предок чжурчжэньского и маньчжурского языков древние китаизмы могли попадать окольным путем – например, через язык государств Когурё или Фуюй (о возникшем в I веке до н.э. малоизвестном государстве Фуюй на территории современного северо-восточного Китая между Большим Хинганом и рекой Нонни см. в статье [Лебедева 1985: 4, 5]). Кстати, загадочное государство Фуюй должно было находиться в непосредственной близости как в пространстве, так и во времени от гипотетической пратунгусоманьчжурской территории. Если это было действительно так, то непонятно, почему такое соседство не повлияло на культурную лексику тунгусо-маньчжурского праязыка. Ведь в нем, судя по всему, отсутствовали слова, означавшие, например, ‘ткань’, ‘колесо’, ‘деревня’, ‘город’, ‘война’, ‘праздник’, ‘вес’, ‘цена’, ‘работать’, а также обозначавшие некоторые другие атрибуты общества соответствующего уровня социального и экономического развития. При этом хотелось бы отметить, что в пратунгусоманьчжурском было очень широко распространенное – от Сербии (*ракија* ‘водка’) до Сахалина (нивх. *arak* ‘водка’) – название спиртного напитка (**arakii*), а также определенно существовало заимствованное из монгольских языков глагольное слово, обозначавшее желаемый результат воздействия такого напитка на человека (**sokto-* ‘опьянеть’, из всех тунгусо-маньчжурских соответствующего слова почему-то нет только в эвенском языке).

Пратунгусоманьчжурских заимствований из известных палеоазиатских языков обнаружить не удалось, хотя, разумеется, палеоазиатских языков раньше вполне могло быть больше, чем в последние несколько веков¹⁴.

Если говорить о более поздних, т.е. не праязыковых заимствованиях в тунгусо-маньчжурских языках, то особый интерес представляют результаты глубоких контактов на территории Маньчжурии предка чжурчжэньского и маньчжурского языков предположительно с киданьским как весьма архаичным монгольским, а еще раньше с каким-то загадочным языком весьма цивилизованного народа, вероятно, создавшего

¹⁴ У Н. Витсена (Витсен) на «мугальском» языке приведены какие-то очень странные слова (*Mugaelische Woorden*) – наряду с явно монгольскими названиями лошади (*Mouri*), золота (*Alta*), серебра (*Mong*), а также приветствием *Seinou* (ср. монг. *сайн уу?*), на которое отвечают *Sein* (ср. монг. *сайн*), мы видим загадочные глагольные словоформы с не менее загадочными местоимениями 1-го и 2-го лица ед.ч.: *Ni daliba* ‘Я ударил (ik heb geslagen)’, *Gi dalteba* ‘ты ударил (gy heb geslagen)’ [Witsen 1785: 266]. В этих словоформах (кроме них, указаны и некоторые другие) монгольским является, пожалуй, лишь показатель прошедшего времени *-ba*; местоимение *ni* ‘я’ совпадает не только, скажем, с нивхским, но и с баскским, что свидетельствует, скорее всего, о случайности такого совпадения (хотя кто знает?).

государство Когурё (а также, может быть, Фуюй); с другой стороны, общий далекий предок эвенкийского, солонского, эвенского, негидальского, орочского и удэгейского какое-то время, по-видимому, контактировал с чукотско-камчатскими и с тюркскими языками, о чем свидетельствуют немногочисленные, но крайне любопытные лексические заимствования, характерные для этой условно северной группировки тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Лингвистическое доказательство существования в далеком прошлом таких связей может существенно повлиять на наши пока еще очень смутные представления о языковом ландшафте южной части Дальнего Востока в I тысячелетии н.э.

9.0. Резюме

А. Локализация праязыка может быть осуществлена разными способами, однако наряду с испытаным и надежным топонимическим перспективным представляется предлагаемый в данной статье метод «привязки» самых ранних звуковых переходов, свойственных наиболее древним таксономическим единицам данной языковой семьи, к какому-либо конкретному объекту на карте или к каким-либо уникальным особенностям флоры и фауны определенных географических зон. Для тунгусо-маньчжурских языков такой опыт дает любопытные результаты на основе, в частности, известного исторического фонетического перехода **x- > φ-*, произшедшего в далеких предках одних языков (эвенкийского, солонского, эвенского, негидальского, орочского, удэгейского, маньчжурского и в какой-то степени чжурчжэнского) и не свойственно другим (нанайскому, ульчскому, орокскому и в определенной степени чжурчжэнскому).

Б. Применение лингвистических методов поиска родины языковых предков, в том числе и метода привязки некоторых данных исторической фонетики к определенным географическим реалиям, позволяет выскажаться в пользу уже предлагавшейся А.П. Деревянко идеи локализовать прародину тунгусо-маньчжуров в Среднем Приамурье [Деревянко 1976: 274]. Следовало бы, правда, уточнить, что родина языковых предков тунгусо-маньчжурских народов находилась не в равнинных районах бассейна Среднего Амура, а в гористой местности с хвойно-широколиственными лесами. Возможно, к ней относилась южная часть Буринского хребта, а также Малый Хинган, причем не только на российской, но и на китайской территории, где эта горная система занимает значительную площадь и расположена в целом параллельно реке Амур.

В. С лингвистической точки зрения родиной языковых предков должна быть территория, на которой начали формироваться ветви (группы) языковой семьи. Существенное усиление процессов дивергенции праязыковых диалектов, превратившихся со временем в ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи, можно датировать приблизительно началом нашей эры.

Г. Ближайшими соседями пратунгусоманьчжуров были прамонголы, оказавшие существенное влияние на их язык и культуру и тем самым, вероятно, стимулировавшие и ускорившие распад тунгусо-маньчжурского праязыка.

Д. Носители пратунгусоманьчжурского языка, по-видимому, обладали определенными навыками в металлургии, имели какое-то представление о коневодстве, а впоследствии и об оленеводстве, при этом основным и любимым их занятием всегда была охота, пристрастие к ней передавалось из поколения в поколение и является наряду с генетической общностью языков одной из немногих особенностей, объединяющих такие разные народы как, например, оленеводы-эвенки, преимущественно рыболовы нанайцы и земледельцы-маньчжуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аворин 1963 – В.А. Аворин. О классификации тунгусо-маньчжурских языков // Труды двадцать пятого междунар. конгресса востоковедов. Т. III. М., 1963.

- Аворин, Лебедева 1978 – *В.А. Аворин. Е.П. Лебедева*. Орочские тексты и словарь. Л., 1978.
- Василевич 1960 – *Г.М. Василевич*. К вопросу о классификации тунгусо-маньчжурских языков // ВЯ. 1960. № 2.
- Гамкелидзе, Иванов 1984 – *Т.В. Гамкелидзе, Вяч.Вс. Иванов*. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. II. Тбилиси, 1984.
- Деревянко 1973 – *А.П. Деревянко*. Ранний железный век Приамурья. Новосибирск, 1973.
- Деревянко 1976 – *А.П. Деревянко*. Приамурье в древности (до начала нашей эры). Новосибирск, 1976.
- Ивановский 1894 – *А.О. Ивановский*. *Mandjurica. I. Образцы солонского и дахурского языков*. СПб., 1894.
- Кормушин 1998 – *И.В. Кормушин*. Удыхайский (удэгейский) язык. М., 1998.
- Крюков, Софонов, Чебоксаров 1978 – *М.В. Крюков, М.В. Софонов, Н.Н. Чебоксаров*. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М., 1978.
- Лебедева 1985 – *Е.П. Лебедева*. Фуюй (Пуё) // Формирование культурных традиций тунгусо-маньчжурских народов. Новосибирск, 1985.
- Меновицков 1964 – *Г.А. Меновицков*. К вопросу о проницаемости грамматического строя языка // ВЯ. 1964. № 5.
- Миддендорф 1878 – *А. Миддендорф*. Путешествие на север и восток Сибири. Ч. II. Коренные жители Сибири. СПб., 1878.
- Оненко 1980 – *С.И. Оненко*. Нанайско-русский словарь. М., 1980.
- Певнов 1984 – *А.М. Певнов*. Глоттохронология и тунгусо-маньчжурская проблема // Археология и этнография народов Дальнего Востока. Владивосток, 1984.
- Певнов 1985 – *А.М. Певнов*. О названиях соли в тунгусо-маньчжурских языках // Лексика тунгусо-маньчжурских языков Сибири. Новосибирск, 1985.
- Певнов 2004 – *А.М. Певнов*. Чтение чжурчжэнских письмен. СПб., 2004.
- Сем 1976 – *Л.И. Сем*. Очерки диалектов нанайского языка. Бикинский (уссурийский) диалект. Л., 1976.
- Суник 1958 – *О.П. Суник*. Кур-урмийский диалект. Исследования и материалы по нанайскому языку. Л., 1958.
- Суник 1959 – *О.П. Суник*. Тунгусо-маньчжурские языки // Младописьменные языки народов СССР. М.; Л., 1959.
- Суник 1985 – *О.П. Суник*. Ульчский язык. Исследования и материалы. Л., 1985.
- Усенко 1984 – *Н.В. Усенко*. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока. Справочная книга. Хабаровск, 1984.
- Фасмер 1973 – *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1973.
- Цинциус 1949 – *В.И. Цинциус*. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949.
- Шнейдер 1936 – *Е.Р. Шнейдер*. Краткий удэйско-русский словарь. М.; Л., 1936.
- Штернберг 1933 – *Л.Я. Штернберг*. Гиляки, орохи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск, 1933.
- Яхонтов 1980 – *С.Е. Яхонтов*. Оценка степени близости родственных языков // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.
- Golovko 1996 – *E. Golovko*. A case of non-genetic development in the Arctic area: the contribution of Aleut and Russian to the formation of Copper Island Aleut // Language contact in the Arctic: Northern pidgins and contact languages. Berlin; New York, 1996.
- Ikegami 1997 – *J. Ikegami*. A dictionary of the Uilta language spoken on Sakhalin. Sapporo, 1997.
- Ikegami 2001 – *J. Ikegami*. Versuch einer Klassifikation der tungusischen Sprachen // Researches on the Tungus language. Tokyo, 2001.
- Shirokogoroff 1944 – *S.M. Shirokogoroff*. A Tungus dictionary. Tungus-Russian and Russian-Tungus. Tokyo, 1944.
- Witsen 1785 – *N. Witsen*. Noord en Oost Tartaryen: behelzende eene beschryving van verscheidene Tartersche en nabuurige Gewesten, in de noorder en oostelykste deelen van Aziën en Europa. Eerste Deel. Amsterdam, 1785.

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ

- БАМРС 2001 – Большой академический монгольско-русский словарь. Т. III. М., 2001.
- ДФДВ 1982 – Древесная флора Дальнего Востока. М., 1982.

- ДТС 1969 – Древнетюркский словарь. Л., 1969.
- КрРС 1951 – Корейско-русский словарь / Сост. А.А. Холодович. М., 1951.
- КрРС 1960 – Корякско-русский словарь / Сост. Т.А. Молл. Л., 1960.
- КССУЯ 1998 – Кялудзюги-Симонова словарь удэгейского языка. Удэгейско-русско-удэгейский (препринт). Т. 2. Стеншев, 1998.
- ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- НенРС 1955 – Ненецко-русский словарь / Сост. Н.М. Терещенко. М., 1955.
- НивхРС 1970 – Нивхско-русский словарь / Сост. В.Н. Савельева, Ч.М. Таксами. М., 1970.
- ПМРС 1875 – Полный маньчжурско-русский словарь. Составлен Иваном Захаровым. СПб., 1875.
- СРГП 1983 – Словарь русских говоров Приамурья / Сост. Ф.П. Иванова, Л.В. Кирпикова, Л.Ф. Путятиной, Н.П. Шенкевич. М., 1983.
- СИГТЯ 2006 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. М., 2006.
- ССТМЯ 1975 – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I. Л., 1975.
- ССТМЯ 1977 – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. II. Л., 1977.
- ЧРС 1957 – Чукотско-русский словарь / Сост. Т.А. Молл, П.И. Инэнликэй. Л., 1957.
- ЭРС 1958 – Эвенкийско-русский словарь / Сост. Г.М. Василевич. М., 1958.
- ЭХКиЕАО 1995 – Энциклопедия Хабаровского края и Еврейской автономной области. Хабаровск, 1995.
- AADD 1964 – An Ainu dialect dictionary. Tokyo, 1964.
- MED 1960 – Mongolian-English dictionary. General editor: F.D. Lessing. Compiled by M. Haltod, J. Gombojab Hangin, S. Kassatkin, F.D. Lessing. Berkeley; Los Angeles, 1960.